

НА РАССВЕТЕ ПОСЛЕ БОЯ

Всю жизнь память задавала мне загадки, выхватывая, приближая часы и минуты из военного времени, будто готово быть со мной неразлучно. Сегодня вдруг явилось раннее летнее утро, расплывчатые силуэты подбитых танков и около орудия два лица, заспанных, в пороховой гари, одно пожилое, хмурое, другое совсем мальчишеское,— увидел эти лица до того выпукло, что почудилось: не вчера ли мы расстались? И дошли до меня их голоса, как если бы они звучали в траншее, в нескольких шагах:

— Утянули, а? Вот фрицы, тудыть иху муху! Восемнадцать танков наша батарея подбила, а восемь осталось. Вон,

считай... Десять, стальной, утянули ночью. Тягач всю ночь в нейтралке гудел.

— Как же это? И мы — ничего?..

— «Как, как». Раскакался! Зацеплял тросом и тянул к себе.

— И вы не видели? Не слышали?

— Почему не видели, не слышали? Видели и слышали. Я вот всю ночь мотор в лощине слышал, когда ты дрых. И движение там было. Поэтому пошёл, капитану доложил: никак опять атаковать ночью или к утру готовятся. А капитан говорит: подбитые свои танки утягивают. Да пусть, говорит, всё равно не утащат, скоро вперёд пойдём. Стальной, двинем скоро, школьная твоя голова!

— Ах, здорово! Веселей будет! Надоело тут, в обороне. Страсть надоело...

— То-то. Глуп ты ещё. До несуразности. Наступление вести — не задом трясти. Весело на войне только дуракам бывает и таким гусарам, как ты...

Странно, в памяти осталась фамилия пожилого солдата, дошедшего со мной до Карпат. Фамилия же молодого исчезла, как исчез он сам в первом бою наступления, зарытый в конце той самой лощины, откуда немцы ночью вытягивали свои подбитые танки. Фамилия пожилого солдата была Тимофеев.

ЗВЕЗДА ДЕТСТВА

Серебристые поля сверкали над спящей деревней, и одна из звёзд, зелёная, по-летнему нежная, особенно добро мерцала мне из глубин Галактики, из запредельных высот, двигалась за мной, когда я шагал по пыльной ночной дороге, стояла меж деревьев, когда я остановился на опушке березняка, под тихой листвой, и смотрела на меня, лучась родственно, ласково из-за чёрной крыши, когда я дошёл до дома.

«Вот она,— думал я,— эта моя звезда, тёплая, участливая, звезда моего детства! Когда я видел её? Где? И, может

быть, я обязан ей всем, что есть во мне хорошего, чистого? И, может быть, на этой звезде будет последняя моя юдоль, где примут меня с тою же родственностью, которую я ощущаю сейчас в её добром, успокоительном мерцании?»

Не было ли это общение с космосом, что до сих пор всё-таки пугающе непонятен и прекрасен, как таинственные сны детства?!

КРИК

Была осень, осыпались листья, скользили по асфальту мимо пригретых бабьим летом стен домов. В этом уголке московской улицы уже до ступиц утопали в шуршащих ворахах колёса машин, как бы покинутых вдоль обочин. Листья лежали на крыльях, собирались кучками на ветровых стёклах, а я шёл и думал: «До чего хороша поздняя осень — её винный запах, её листья на тротуарах, на машинах, её горная освежённость... Да, всё естественно и потому прекрасно!..»

И тут мне слышалось, что где-то в доме, над этими тротуарами, одинокими машинами, засыпанными листьями, кричала женщина.

Я остановился, глядя на верхние окна, пронзённый криком боли, как будто там, на верхних этажах обычного московского дома, мучали, пытали кого-то, заставляя корчиться, извиваться под калёным железом. Окна были одинаковы, по-предзимнему закрыты наглухо, а крик женщины то затихал наверху, то нарастал нечеловеческим воплем, визгом, рыданиями крайнего отчаяния.

Что там было? Кто мучил её? Зачем? Почему она рыдала так страшно?

И всё погасло во мне — и богоданный московский листопад, и умиление порой бабьего лета, и почудилось, что это кричало от непереносимой боли само человечество, потерявшее ощущение блага всего сущего — неповторимого своего существования.